

Георгий Демидов

Убей немца

Так убей же хоть
одного! Так убей же его
скорей! Сколько раз
увидишь его, Столько
раз его и убей!

Константин Симонов

Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

24 июля 1942 г.

Илья Эренбург

Саша Маслов и Костя Шмелев заметили этот плакат еще утром, когда бежали в школу. Но подойти к нему поближе они тогда не могли. Из школьного коридора уже доносился звонок, ребята опаздывали на занятия.

И всегда не слишком внимательные на уроках, сегодня друзья были особенно рассеяны. Из головы у них весь день не вылезал увиденный мельком плакат — огромный, черно-желтый, изображающий что-то необычайно интересное про войну. Зимой в Устьпяне событием являются даже новые плакаты, время от времени появляющиеся возле входа в местный клуб. Их, как и кинокартины, привозят сюда на собаках один раз в полтора-два месяца.

Получив больше обычного замечаний за перешептывание и невнимательность на занятиях и заработав по двойке за диктант с совершенно одинаковыми ошибками, Шмелев

и Маслов первыми выскочили из класса со звонком и первыми домчались до вешалки. Одеваясь на ходу, они перебежали маленькую площадь поселка, на другой стороне которой стояло затейливое строение с четырьмя некрашеными столбами напротив входа, изображающими колонны, - местный клуб. К наружной стене кинозала, сильно напоминающей своими высоко прорезанными оконцами стену небольшого коровника, и был приклеен плакат, привлечший к себе внимание ребят.

Грубый, без полутонов, но выразительный рисунок в две краски изображал советского воина, в яростном броске поражающего штыком фашистского солдата. Штык, однако, был не русский трехгранный, а плоский, ножевой, и притом, зубчатый как пила. Такое отступление от истины было сделано художником, несомненно, сознательно, в целях достижения наиболее жестокого эффекта. С той же целью тут были допущены и куда большие ошибки. Совершенно неестественной была поза немца. Штык русского солдата пронзал снизу вверх его голову, как будто фашист ждал удара, сильно перегнувшись всем корпусом назад и до предела вскинув подбородок. Конец заостренной пилы торчал у него из темени, проткнув каску. Было немало и других несуразностей.

Однако школьники — скоро их тут собралась целая ватага — этих несуразностей не замечали. Их целиком захватило сандистское вдохновение художника, которое так легко передать дикарям и детям. Кроме того, воображение ребят делало эпизод, изображенный на плакате, над которым желтыми с черным мазками, как будто языками коптящего пламени, было написано «Убей немца!», только деталью общей картины боя. Оно перенесло их в восхитительный мир войны, которая шла где-то в невообразимой дали. Там, на Материке, под аккомпанемент бомбовых ударов и пушечных залпов выводили свои залиvistые трели пулеметы, там совершали героические подвиги советские солдаты и партизаны, а им помогали ребята школьного возраста, не уступающие по храбрости самому ска-

зочному Мальчишу-Кибальчишу. А тут, в рыбацьем поселке на берегу Охотского моря, было нестерпимо тихо и скучно.

О жизни и подвигах своих сверстников на Материке здешние школьники знали по рассказам учителей, сообщениям в газетах «Пионер» и «Смена», зимние номера которых приходили сюда с полугодичным опозданием, и радиогазете «Пионерская зорька». Ее слушали довольно часто через двойную трансляцию Хабаровска и Магадана. Устьянские мальчишки не только знали, что их более счастливые одноклассники живут со своими родителями-партизанами в лесах на оккупированных немцами территориях, помогают им выслеживать фашистов, взрывать мосты и нападать на немецкие гарнизоны, но и видели фотографии этих счастливых ребят в газетах и журналах. Некоторые из юных героев были даже в солдатской или матросской форме, а на груди у них висели настоящие ордена и медали. И уж во всяком случае, все без исключения дети на Материке являлись детьми или младшими братьями защитников Родины. Здесь же с самого начала войны на фронт не взяли ни одного человека, даже добровольно изъявивших такое желание. Весь край был объявлен состоящим под какой-то «броней». В прошлом году четыре жителя поселка, давно уже получающие стопроцентную надбавку к зарплате, сложились и внесли на танк для фронта пятьдесят тысяч рублей. При этом жертвователи обратились с письмом к самому Сталину, в котором они просили Верховного Главнокомандующего зачислить их в экипаж этого танка, благо все они были кто механиком, кто трактористом, кто машинистом локомотива. Сталин ответил им тогда телеграммой, которую зачитывали на общем собрании поселчан. Он благодарил патриотов за их вклад в дело обороны страны, но в приеме в Армию отказал. «Ваша работа на Дальнем Севере, — значилось в телеграмме, —

нужна Родине так же, как и служба бойца на фронте».

Ребята не могли взять в толк, как можно сравнивать работу по охране здешнего лагеря заключенных, лов рыбы или бой морзверя с непосредственным участием в Отечественной войне? Они были убеждены, что если не все, то подавляющая часть взрослых мужчин в их поселке весьма огорчены своей жалкой участью «бронированных» и втайне мечтают, как бы

им нарушить запрет и попасть на фронт. Взрослые, однако, народ бестолковый, отягощенный всякими обязанностями и заботами. Да и творческая фантазия у них отсутствует. Другое дело ребята-школяры, тут смелости и фантазии хоть отбавляй, особенно у Сашки Маслова. Сашкина голова и прежде была занята всякой заумью вроде проекта воздушного шара из нерпичьих пузырей. В последний же год он переключился почти исключительно на придумывание способов побега на Материк. Конечно, не просто для прогулки, а чтобы принять участие в войне с фашистскими захватчиками. Подобная цель оправдывала все издержки мероприятия, даже горе и беспокойство родителей, не говоря уже о прекращении занятий в школе. Впрочем, чего стоила эта школа со всей ее «грызухой» и занудливой премудростью по сравнению с одной только медалью «За храбрость»? А что такую медаль он получит, как только доберется до фронта, Сашка нисколько не сомневался. Мало думал он и о средствах преодоления пути в десять тысяч километров от японскоморского побережья до этого фронта. По сравнению с переходом через границу Дальстроя - эта задача второстепенная. Зато побег с Колымы все здесь считают делом почти невозможным даже для людей, которых не держат за оградой лагеря под постоянным наблюдением конвойного. Сначала Сашка в это не очень верил. Но постепенно, однако, все больше убеждался, что такое утверждение очень близко к истине. Он начал даже впадать в уныние - было очень похоже, что война закончится раньше, чем он придумает способ совершить со своим другом

Костей какой-нибудь подвиг.

Костя был хорошим товарищем и даже не трусом, хотя немного мямлей и человеком, склонным к слишком трезвым рассуждениям. Он не поверил, например, в идею Сашки улететь куда-нибудь на нерпичьих пузырях. Сказал, что от махорочного дыма, которым по Сашкиному проекту должны быть заполнены пузыри, у них закружится голова и начнется рвота, да и махорки столько им не достать. В этих его рассуждениях было что-то девчоночье. Но если Костя не мог противопоставить очередной Сашкиной затее какие-нибудь рационалистические возражения, он подчинялся его авторитету вожака и неистощимого выдумщика. Это его подчинение и чуть ли не обожание и было той главной причиной, почему Сашка почти уже не мыслил реализации своих идей в одиночку без Кости.

Нигде на Колыме трудность выбраться на Материк не видна с такой наглядной очевидностью, как в поселке Устьпяна. По одну сторону, куда-то до самой Америки простирается холодное и бурное море. Зимой оно замерзает у берегов и до самого горизонта громоздится высокими торосами. За кромкой берегового льда на «Охотах» почти непрерывно бушуют свирепые ледовые штормы. Летом штормы случаются реже, но и тогда они налетают чаще всего очень неожиданно. Поэтому не только какая-нибудь весельная или парусная лодка, но даже мореходные катера типа «кавасаки», которыми оснащен рыболовецкий флот Устьпяна, стараются и в хорошую погоду особенно далеко от берега не отходить. В десятибалльный шторм на здешнее море с его свинцовыми валами, вскипающими на гребнях грязно-белой пеной, страшновато смотреть даже с берега.

А с трех остальных сторон поселок окружило другое море — каменное. Если взобраться на одну из прибрежных сопкок, то хорошо видно, как валы этого моря в виде почти параллельных рядов таких же сопкок протянулись с запада на восток. Тайга в распадках между ними нередко болотистая, с трясинами. В горных ущельях бегут быстрые реки, над ко-

торыми крутыми обрывами нависли скалы. И так на многие сотни и тысячи километров к югу и западу. На севере же лежит Северный Ледовитый океан. Все это ясно видно на карте. География была единственным школьным предметом, по которому у Маслова и Шмелева не было ни одной двойки.

Выходило, что пробираться на Материк сушей едва ли не труднее и опаснее, чем плыть до него морем. Кроме того, морской вариант был романтичнее и оставлял гораздо больше места для изобретательства. Поэтому Саша перебрал в уме и обсудил с Костей не один вариант путешествия через Охотское и Японское моря и соединяющий их пролив Лаперуза.

Можно было, например, построить из выдолбленных древесных стволов пирогу или катамаран, как это делают аборигены архипелагов Тихого и Индийского океанов. Заплывать за пределы акватории, подлежащей ведению Дальстроя, при этом не обязательно. Достаточно чтобы пирогу с отважными путешественниками в открытом море заметили с проходящего судна. Тогда они будут подняты на его борт, и трудно представить себе капитана корабля, который, узнав о намерениях мальчишек, не помог бы им добраться до вожаемого Материка. Тем более что они не собираются жить у него на хлебниками, а разу же выразят готовность работать на пароходе юнгами.

Костя этот проект сразу же забраковал. Во-первых, ближайшие от берега лиственницы, из которых можно выдолбить пирогу, растут за сопкой высотой в добрый километр; во-вторых, самые толстые из них достигают едва ли толщины Сашкиного пуза; в-третьих, где гарантия, что судно, встреченное ими в океане, будет непременно советским?

Тогда Сашка предложил угнать один из здешних «кава-саки». Как включается его мотор, Сашка давно уже подсмотрел во время школьных экскурсий на катере. Как управлять суденышком посредством штурвала в рулевой

рубке - ясно и дураку. Похоже, правда, на бандитское действие, но все это, опять же, оправдывается высокой целью. Да и катер не пропадет. Где-нибудь в районе Владивостока местные жители однажды обнаружат пришвартованный к береговой сосне «кавасаки», в рубке которого будет лежать записка, что этот катер принадлежит устьянскому рыбпромхозу. Костя резонно возражал: а телефон на рыбхозе и соседний погранпост на что? Втихаря из Устьяна не выйдешь, выдаст треск мотора. И тут же беглецов накроет серый, низко сидящий на воде сторожевик, от которого ни на каком «кавасаки» не уйдешь. В отчаянных попытках придумать что-нибудь, что выдержало бы критику приятеля, Саша все больше терял чувство реальности. Однажды он предложил даже переделать в подводное судно старый паровозный котел, ржавеющий на берегу со времен, когда ставные сети на сельдь вытаскивали из моря паровыми лебедками, а не тракторами, как теперь. Костя только рукой махнул. Из инструментов для металлообработки у них есть только клещи да молоток. А чтобы опустить Сашкин корабль на воду или под воду, придется идти на поклон к начальнику промхоза: так, мол, и так, Викентий Петрович, одолжите трактор на пару часов, бежать на Материк собираемся... Сашка тогда еще обругал Костю - критиковать и выискивать слабые стороны в изобретениях и дурак умеет. Ты попробуй сам изобрести что-нибудь путное. Костя на него окрысился, чего с ним прежде никогда не бывало; чтобы изобретать глупости тоже, мол, не больно много ума надо! Друзья тогда серьезно поссорились.

Скоро Саша понял, что таким путем он может потерять не только доброго товарища, но и хорошего помощника на тот случай, если ему удастся придумать, наконец, нечто реально выполнимое. В таких случаях Костя из критикана превращался в дисциплинированного оруженосца при храбром рыцаре, мягкость и некоторая нерешительность которого делали его

еще более послушным своему волевому товарищу в критические минуты. Так было, например, осенью прошлого года, когда Сашка почти насильно втолкнул Костю в шлюпку, в которой охотники на морзверя имели неосторожность оставить заряженный винчестер. Дело в том, что невдалеке от взморья показалась голова нерпы. Было бы здорово, если бы ребятам удалось подстрелить эту нерпу, победителей ведь не судят! Сашка, правда, промахнулся — он в первый раз держал в руках тяжелое ружье - и получил крепкую взбучку от отца. Попало и Косте, сидевшему на веслах. Сашка сделал тогда два важных наблюдения: во-первых, что Костя, несмотря на свой мягкий характер, и после разноса, устроенного ему матерью-учительницей, вовсе не отказался от мысли, что мужчинам, достигшим уже возраста пятиклассников, не годится жить, не совершая каких-нибудь подвигов. Во-вторых, что в особо опасные и решающие моменты его несильная воля как бы выключается и подменяется волей более решительного соучастника приключения. Если авторитет выдумщика и инициатора перед Костей нужно было оберегать и поддерживать, то авторитет начальника утвердился уже как бы сам собой, благодаря заложенному в нем инстинкту подчинения. Влияние Сашки на Костю усиливало еще и то, что он был старше его на целых полгода.

Младший здесь и родился, старшего привезли с Материка, когда ему было немногим более трех лет. Это тоже давало Сашке лишнее основание для претензии на превосходство, которого, впрочем, скромный Костик обычно не отрицал. Особенно с тех пор как Сашка, во все больших и не всегда одинаковых подробностях стал припоминать свое давнее путешествие через два моря. Кроме того, эти подробности становились все более драматическими. Несмышленный тогда еще путешественник, бегая по фальшборту корабля, свалился в море, откуда его выловил смелый матрос. Или однажды, когда пароход затерло льдами, он выбрался на льдину, чтобы подергать за усы сидящего на ней моржа. Видел Сашка и ки-

тов, подплывающих чуть не к самому борту парохода и приветствовавших его высоченными фонтанами воды. Попадал этот пароход и в центр тайфуна, садился на мель и даже насккивал на рифы. Ни в каких подобных приключениях Костя, конечно, участвовать не мог. И теперь по-хорошему завидовал товарищу, слушая его рассказы.

Вернуть Костино благорасположение Сашке было нетрудно, хотя для этого ему пришлось попридержать свое неумное фантазирование по части географических проектов. А вот по отношению к самоновейшим подробностям Сашкиного путешествия на Колыму Костя не проявлял никакого скепсиса. Он доверчиво слушал рассказы и об извержении вулкана где-то на Курилах, который тот наблюдал с моря, и об уссурийских тиграх, выглядывавших из таежной чащи, когда пароход плыл вдоль берега Приморского края, и виденных рассказчиком в подзорную трубу, и о многом другом, во что Саша давно уже верил и сам. После ссоры с Костей даже ему начало казаться, что об унылую будничность Устьяна разобьется самая буйная фантазия и самая гениальная находчивость. Ничего выдающегося здесь, кажется, никогда не совершалось. Во всяком случае ни о чем таком не могли припомнить не только сами школяры, но и самые древние жители поселка, жившие здесь со дня его основания.

Основан Устьян был где-то в начале тридцатых годов, когда здесь был построен лагерь для заключенных специально для снабжения Дальстроевских подданных рыбой. Редкая, но длинная цепочка таких лагерей протянулась от Охотска на юге края до Камчатки на севере. Летом здесь ловили сельдь и лососевых, которые шли в Пяну и другие реки на нерест громадными, плотными косяками. Ловить эту глупую рыбу было так просто, что это умели делать даже медведи. Устроившись у берега на какой-нибудь полузатонувшей коряге, в месте, где кета или горбуша перлась вверх по речке так тесно и так яростно, что буквально эту реку перепружала, медведи подхватывали лапами рыбины из воды и отъедали им головы. Остальное ла-

комки бросали, полагая недостаточно вкусным. За счет тех же лососей отъедались тут за лето и целые стада охотскоморских тюленей, следовавших за рыбой в реки. Очередь морзверя наступала осенью, когда на него самого охотились уже люди. Но били тут нерп и сивучей не совсем так, как в других местах: их стреляли на плаву с лодок, благо в воде тюлень не пуглив и подпускает к себе довольно близко. Но дело это было непростое и связанное с немалым риском. Убитый зверь утонет, если не подплыть к нему достаточно быстро, не загарпунить и не втащить шестипудовую тушу в лодку. Делать же это приходится чаще всего на довольно высокой волне при постоянной опасности внезапного шквала с моря. Промысел морзверя был по-настоящему мужским делом, и ребята не раз просили промысловиков взять их с собой в лодку. Но те упорно отказывались. Кто будет за пацанов отвечать в случае чего?

Как и всюду в Дальстрое, основные работы в Устьпьяне выполняли заключенные. Они жили в небольшом лагере, расположившемся совсем близко от морского берега и разделенном на две зоны, мужскую и женскую. Большинство работ на рыбном промысле, кроме отстрела морзверя, причислялось к разряду легких. По той же причине и мужская часть здешних заключенных по своей трудовой категории принадлежала к слабосиловке, то есть это были старики, инвалиды и люди, доработавшиеся до дистрофии на добыче одного из здешних «номерных» металлов. Но из этих мужчин-заключенных в самом Устьпьяне оставалось зимой не более трети — остальные заготавливали дрова, строительный лес и клёпку для бочек на дальней командировке за сопками. Тут же работали только строители, бондари и небольшое число специалистов по обработке рыбы.

Общество на Колыме в те времена было откровенно сословным. Те, кто находился внутри лагерной ограды, тоже делились на правовые категории, почти касты. Не намного выше заключенных стояли вчерашние заключенные — вольняшки. Затем шли «чистые вольнонаемные», никогда не

бывшие в лагере. Из них выделялась элита разных рангов, начиная от лагерных надзирателей и кончая дальстроевскими генералами. Родители Саши и Кости принадлежали к сословию «чистых вольнонаемных» на его средней ступени. Маслов работал в рыбхозе счетоводом, Шмелев - нормировщиком. Мать Саши была домашней хозяйкой, а Костина, как было уже сказано, учительницей.

Мороз по колымским понятиям был сегодня совсем небольшой, не выше тридцати градусов. Но тихо на морском берегу, особенно зимой, бывает редко. Вот и сейчас в сторону моря дул резкий, непрерывно усиливающийся ветер. Зрители перед плакатом озябли и в большинстве разбежались. Скоро перед ним осталось только двое. Саша рассматривал картину с прежним вниманием, но Костя глядел уже в другую сторону, притоптывал, колотил носками валенок по задникам и дышал в ладони рук, сложенных лодочкой по сторонам покрасневшего носа. Ему было холодно и хотелось есть.

- Эков на обед ведут! - сказал он приятелю, чтобы оторвать его от созерцания плаката и напомнить об обеде. Тот равнодушно повернул голову в сторону, куда смотрел Костя. На улице показалась небольшая колонна заключенных, которых вели на обед со стройдвора и бондарки, расположенных в поселке. Человек тридцать мужчин шли довольно плотной кучкой. Шедший позади конвоир иногда покрикивал на них равнодушным голосом:

- Раз-зговоры... Подрр-равняйсь в затылок!

Особенного равнения ни «в затылок», ни по рядам не было, но не было и особенного разброда. С той стороны колонны, которая была обращена к стене с плакатом, крайним в одном из рядов шагал высокий и сутулый, немолодой арестант в самодельных обмотках на длинных худых ногах. У него было благодушное, несмотря на резкие, глубокие морщины, лицо и серо-голубые, как будто выцветшие, глаза. И цвет глаз и морщины происходили явно не от старости, заключенному вряд ли было больше сорока лет.

Он, как старому знакомому, чуть заметно подмигнул Косте. Тот ответил ему прямым дружелюбным взглядом, но не поздоровался. Здраваться с заключенными в строю нельзя.

Обмотки арестанта были сделаны из старого байкового одеяла. Из того же одеяла, серого с бурыми полосами, было вырезано и его кашне, аккуратно обмотанное вокруг длинной жилистой шеи. И обмотки, и кашне были обметаны по краям суровой ниткой. Заключенный, очевидно, был человек хозяйственный и аккуратный.

- Гляди, какие шмутки немец себе из мамкиного одеяла смастерил! -- сказал Костя, когда заключенные прошли мимо, — ничего у него даром не пропадет! Говорят, все немцы такие кроты... - Язык здешних поселчан, особенно подростков, даже из самых приличных семей, изобилует словечками и выражениями из лагерного жаргона.

Саша равнодушно посмотрел вслед заключенным. Его мысли были очень далеко, там, куда уносил их плакат с пламенеющими буквами «Убей немца!». Но вдруг он как бы очнулся — только что услышанное им слово нашло в этих мыслях какой-то острый, но пока еще не осознанный резонанс. Сашка схватил товарища за пуговицу пальто — так он делал всегда, когда в голову ему приходила какая-нибудь идея, которую он боялся упустить:

- Немец? Какой немец?

- Да наш немец, Линде... Ему мамка на прошлой неделе рваное одеяло дала, так он из него обмотки сделал и кашне.

«Нашим немцем» в семье Шмелевых называли заключенного Вернера Линде, русского немца из Сибири, арестованного еще до войны. Линде работал в плотницкой и часто приносил в их домик щепки и обрезки дерева на растопку. Доставать дрова в Устьпяне было трудно, и зимой многим в поселке не хватало топлива. Те, кто по своему положению не был тут большим начальством, постоянно пользовались

услугами дровоносов из заключенных. За это им, конечно, платили кусочком хлеба, соленой рыбиной или чем-нибудь из тряпья. Лагерники, особенно зимой, жили голодно и бедно. А прошлой осенью им выдали на зиму не новое, как обычно, а старое залатанное обмундирование Война!

Саша тоже хорошо знал заключенного Линде, чуть ли не штатного дровоноса Шмелевых, называя его в разговорах с Костей «вашим немцем». Как и сами Шмелевы, в данном случае, он не вкладывал в слово «немец», никакого другого смысла, кроме способа указать таким образом определенного человека. Так же как дровоноса своей семьи он называл «татаринном». Употреблять фамилии заключенных было здесь не принято. По формальному положению якшаться с ними не полагалось.

Но сейчас это слово поразило и почти испугало его своим особенным и страшным смыслом, мысль о котором как-то не приходила ему до сих пор в голову. Ведь слово «немец» и слово «фашист» почти равнозначны! В них вложено все самое худшее, враждебное и ненавистное, что только может быть в человеке! В истреблении всего, что связано с понятием «фашизм», заключается первейший долг советского человека. Об этом долге ежедневно напоминают по радио приказы самого Сталина, лозунги и плакаты. Иногда в самой решительной и категоричной форме.

«Убей немца!» называлась большая статья в «Правде», долгое время висевшая под стеклом в клубе. «Убей немца!» кричали огненно-желтые буквы плаката на стене рядом. Когда Саша и Костя ломали головы над тем, как им добраться до фронта, они стремились, в сущности, убивать немцев или, по крайней мере, помогать убивать их, как это делали Зоя, Славик и другие юные партизаны, портреты которых висят в школе.

В передаче «Пионерская зорька», пионерских журналах и многочисленных книжках для детей часто помещались рассказы о том, как пионеры и школьники, живущие в пограничных районах, совершают подвиги у себя дома, помогая

выявлять и обезвреживать шпионов и диверсантов, пробирающихся в Союз из-за границы.

Охотскоморское побережье — тоже погранрайон. Однако даже Саше не приходило никогда в голову высматривать здесь тайный вражеский десант. Кому нужен этот унылый Устьпьян, из которого дальше идти некуда и в котором кроме складов сельди, соленой горбуши и нерпичьего сала и нет ничего! Да еще лагерь с его оградой, вышками, разводами, окриками конвойных и прочим, что было привычно как галечная отмель на морском берегу и бурая сопка с сереющими на ней невзрачными домиками поселка. Все это было, так сказать, дано и не вызвало особых размышлений. Даже то, что среди заключенных здешнего лагеря есть и враги народа, осужденные за контрреволюцию. Все они казались Саше почти на одно лицо.

Только сейчас его как будто осенило, что среди этих людей есть и немцы по происхождению. Люди, которые не имеют права на жизнь! По-видимому, это была чья-то ошибка, которую следовало исправить. Саша не слышал, как политрук здешнего вохровского отряда говорил на собраниях в клубе, что советское правосудие отличается особой гуманностью. И было похоже, что он эту гуманность внутренне не всегда одобрял.

Сашка все крепче сжимал пуговицу Костиного пальто, а тот глядел на него с недоумением. Это недоумение еще больше возросло, когда его приятель, опасливо оглядываясь на стену с плакатом, как будто из-за этой стены кто-то мог подслушать их важный разговор, потащил Костю в сторону. Тот долго не понимал, что так горячо, но сбивчиво пытается втолковать ему товарищ, а когда понял, то рванулся в сторону от него так резко, что его пуговица осталась в руках у Сашки. Видимо, боясь, что Костя может убежать, Саша тут же схватил его за рукав. Наблюдавший за мальчиками со стороны человек мог бы увидеть, как забывшие о холоде, в полурасстегнутых

пальто и сбившихся в сторону шапках, они спорят о чем-то. Причем один из них некоторое время не хочет другого даже слушать и, зажав руками уши, пытается уйти. Но потом остановился и продолжал слушать приятеля с растерянным и нерешительным видом. Иногда спорщики срывались на крик, а потом, пугливо озираясь, переходили на свистящий шепот, хотя были совершенно одни в самом центре пустынной площади.

Очереди к окошкам хлебрезки и раздаточной почты никакой теперь не было, и Линде за десять минут получил и съел свой скудный обед. После него, как всегда, есть захотелось еще сильнее. Чтобы поскорее отделаться от этого противного и назойливого ощущения, Вернер, как только зашел в свой барак — до конца перерыва оставалось еще полчаса, — сразу же достал из-под подушки, набитой истершейся деревянной стружкой наволочки из мешковины, небольшую книжку и близоруко в нее уткнулся. Без очков — их у него отобрали еще при аресте — при мутном свете из замерзшего окна Линде вряд ли бы смог прочесть мелкий шрифт в книжке, если бы не знал текст почти наизусть. Это был томик дореволюционного издания русского перевода «Фауста» Гёте, неведомыми путями попавший в библиотеку КВЧ устьинского лагеря для заключенных.

Нары в бараках этого лагеря были устроены по так называемой «вагонной системе», то есть с проходами между четверками двухъярусных одинаковых полатей, расположенных крестами. Сосед Линде через проход, под стать ему высокий и сутулый, сердито копался под матрацем на своем месте.

В отличие от немца, на одежде которого все прорехи были залатаны или заштопаны, а неуклюжие ЧТЗ из старых автопокрышек зашнурованы крепкой веревочкой, у этого заключенного из его бушлата и штанов отовсюду торчала вата. Утильные бурки, подвязанные обрывком

электрического шнура, сбились в сторону. Такой вид у заключенных в лагерях, подобных устьянскому, то есть относительно легких, возникает обычно в результате внутренней капитуляции, когда человек становится безразличен не только к своей внешности, но и к собственным удобствам. Называли таких то «Прощай-Молодость», то «Догорай-Лучина», то почему-то «Догорай-Веник».

Линде держал маленькую книжечку в своих больших огрубевших руках с таким видом, как будто это была бабочка или птичка, которая вот-вот может вспорхнуть и улететь. Голодная тоска в его выцветших глазах скоро сменилась выражением глубокого удовлетворения. Иногда он закрывал их и беззвучно шевелил губами, видимо, повторяя про себя только что прочитанное. При этом немец восхищенно улыбался и чуть заметно покачивал головой.

- Кто мог взять мою ложку, Вернер?

Изморженное, испитое лицо Жердина, он же Прощай-Молодость, испещряли бесчисленные мелкие морщины. Наверно от того, что этих морщин было очень много и располагались они беспорядочно во всех направлениях, лицо казалось невыразительным, как прикрытое маской из густой сетки. Правда, эту невыразительность с лихвой возмещали глаза, колючие и зло глядевшие из-под седых клочковатых бровей.

Линде некоторое время смотрел на спросившего недоумевающим взглядом. Спуск с высот поэзии в низы убогой прозы требовал времени. Затем он усмехнулся и прикрыл книжечку:

- Ты, Николай Николаевич, и свой корабль к атаке так же готовил, как сейчас в тошниловку собираешься?

- Да уж, у шкрабов наставлений не спрашивал... Не можешь ответить просто, не знаю, мол, а все с назиданием... Шкраб чертов!

- Ленин говорил, что нет никаких «шкрабов». Есть школьные работники. А я к тому же еще и вузовский работник...

- Был работник, да сплыл... Дневальный!

Из отделения за перегородкой, в котором сушились портянки и ЧТЗ жителей барака, вышел пожилой татарин:

- Чего дневальный кричал?

- Не видел, кто мою ложку из-под матраца спер?

- Староста взял. С дежурным по лагерю приходил, шмон делал, столовые ложки отбирал. Говорил, кондей сажать будет...

- Вот черт! В тошниловке-то на одну ложку пять человек приходится...

- Оттого и одна, что таких умных, как ты, много развелось, по баракам ложки растащили! — назидательно сказал Линде. — А хочешь свою иметь, так давно бы себе деревянную выстругал. В плотницкой работаешь...

- Коайне, абер майне... Кулацкий индивидуализм проповедуешь!

- А ты, как видно, из социалистических убеждений казенную ложку прятал...

Жердин сердито помолчал, потоптался, потом сказал примирительно:

- Ладно, ментор! Дай ложку. Баланда все же сытнее твоих нравоучений!

- С этого бы ты и начинал...- снова раскрывший свою книжку Вернер полез за одну из полосатых обмоток и достал из-под нее самодельную деревянную ложку. Назидательность, по-видимому, и в самом деле была ему свойственна:

— Не хочешь сам себе ложку сделать, так у меня попросил бы... Ждешь, покуда я тебе подношение сделаю. Неорганизованный ты человек!

Замечание снова задело Жердина. Уходя — он уже рисковал опоздать в лагерную столовую, «тошниловку», как ее называли тут почти все, — он уже издали съязвил:

- Где уж нам? Мы же - «унтерменш», а не «белокурые

бестии»! Не «нация организаторов»...

Линде, который до сих пор на все выпады желчного соседа только благодушно посмеивался, на этот раз сердито нахмурился. Но Жердин уже вышел из барака. Теперь немцу опять понадобилось время, чтобы снова подняться на философски поэтические высоты Гёте. Однако через минуту, вчитавшись в свою книжку, он уже блаженно улыбался и, как гурман, пробуящий никогда не надоедающее вино, покачивал головой. Несмотря на лагерную стрижку «под ноль», голова была крупная, заметно лысеющая и отнюдь не белокурая.

Места Жердина и Линде оказались рядом в бараке вряд ли случайно. Русского и немца считали в лагере неразлучными друзьями, которые если и дерутся в частых спорах, то только тешатся. Пословица объясняла больше, чем думали. Взаимное тяготение этих двух очень разных людей менее всего было вызвано общностью их убеждений и характеров. Скорее наоборот. Общность ограничивалась у них лагерной судьбой, местом на нарах и склонностью к полемике. Было у них общее также в складе ума, философского у обоих. Но у Вернера Иоганновича это был ум созерцательный, добродушно-ироничный и несколько отвлеченный; у Николая Николаевича — въедливый и саркастический. У Жердина, впрочем, это могло быть и результатом его жизненных неудач. Так или иначе, но друзья спорили по самым разным поводам постоянно, а нередко и ссорились.

Николай Николаевич происходил из небогатых и не именитых служилых дворян. Еще в начале века он закончил Кронштадтское военно-морское училище и к семнадцатому году служил на Балтике в чине старшего лейтенанта Императорского Российского флота в должности командира эскадренного миноносца. Особых видов на карьеру у Жердина не было: не то происхождение, а главное - либерализм, порожденный избытком интереса к наукам, литературе и искусствам. Интеллигентность же для офицера на Руси, как, впрочем, и для чиновника любой иной иерархии -- каче-

ство противопоказанное во все времена. Но она не мешала Жердину быть храбрым и толковым моряком. За смелые операции по подрыву неприятельских судов он даже был награжден орденом. Нечего и говорить, что Февральскую революцию с ее перспективой преобразования России в буржуазно-демократическую республику молодой офицер приветствовал и возлагал на нее радужные надежды. Также естественно было то, что Октябрьской революции он не принял, как деликатно начали обозначать впоследствии отрицательное отношение к большевизму большей части русской интеллигенции. Но почти по тем же причинам он не принял и белогвардейщины, умудрившись в наступившей Гражданской войне не принять участия ни на одной из сторон, что, подчас, требовало большего мужества, чем даже участие в самих событиях. Вначале Жердин полагал, что большевистская революция — это не более чем стихийный мужицкий бунт, белогвардейские методы подавления которого способны только его усилить. Затем, как и многие, он начал думать, что умение строить, а не разрушать, окажется для большевиков непосильной задачей. НЭП он принял как начало конца большевизма, который через некоторое время приведет Россию все к тому же знаменателю буржуазной демократии.

В Гражданскую Жердину пришлось приложить немало усилий, чтобы не быть расстрелянным большевиками за отказ служить у них в качестве военспеца и белогвардейцами по подозрению, что он хочет стать военспецом у красных. Но после войны служить Советской власти, хотя уже и на довольно мирной должности, ему все-таки пришлось. Жердин стал преподавателем минного дела в том самом училище, в котором когда-то учился сам. Дело это он любил, как и общение с молодежью, позволявшее дать выход потребности к высказыванию постоянно толпящихся в голове мыслей. Далекое не всегда, притом, относящихся к конструкции минных аппаратов или мин Уайтхеда.

То ли эти мысли, высказываемые всегда слишком прямо

и слишком громко, то ли бывшее звание офицера царского флота, то ли дворянское происхождение и наличие за границей родственников-белоэмигрантов привели к тому, что в конце двадцатых годов ГПУ сочло за благо выслать по своему хотению гражданина Жердина в Нарымский край сроком на три года. Потом этот срок был продлен еще на пять лет. Затем классово-чуждый ссыльный, замеченный в антисоветских настроениях и попытках переписываться с границей, был арестован и по решению ОСО — Особого Совещания при наркомате Внутренних дел — был отправлен на десять лет в лагерь без всякого следствия и суда, что резонно считалось в отношении таких, как Жердин, ненужным и канительным излишеством.

Теперь Николай Николаевич ненавидел советскую власть уже по-настоящему. Коммунизм он называл смесью политического бандитизма и инквизиторского фарисейства. Говорил, что государство диктатуры пролетариата, как называют большевики Россию, в действительности является вотчиной всемогущих сатрапов, больших и маленьких, с чуждым русскому народу кавказцем-диктатором во главе. Придуманную им же Конституцию этот Диктатор превратил даже не в фиговый листок для чинимых в стране беззаконий, а в подобие шутовского колпака на голове голого палача. Много еще желчи, смешанной с кровью, изливал в минуты очередного приступа политической ненависти бывший морской офицер на головы бурбонов-большевиков. Их способность создать какую-то свою, духовную культуру он начисто отрицал. Тот толчок, который дал революционный радикализм первых лет после Октября своеобразной и мощной советской литературе, он считал давно иссякшим. Эта литература прямо из пеленок была переодета в вицмундир ведомства агитации и пропаганды при дворе Его Величества Иосифа Первого. Самые талантливые ее представители или покончили с собой, или затихли, или превратились в услужливых чиновников-одописцев.

Николай Николаевич запальчиво вульгаризировал свои

суждения о советской литературе, сваливал в одну кучу и Маяковского, и Гладкова, и марксистскую теорию, и политическую практику сталинского государства. Людей, которые внутренне все это приемлют, он называл «совдураками» и «хомо советикус», язвительно произнося иногда слово «хомо» как «хамо». При этом он был очень начитанным, широко мыслящим человеком, хорошо знавшим русскую и западноевропейскую литературную классику. Кое-что он даже читал на языке оригиналов, так как неплохо знал французский и английский языки. В слове «английский» Жердин делал всегда ударение на «а» — английский.

Все это его бурбонство и деланная подчас реакционность всегда раздражали Линде и вызывали в нем бурный дух противоречия, хотя и он отнюдь не был правоверным «хомо советикус». Если принять, что бытие определяет сознание, то для исповедования религии ординарного «совдурака» у него не было особых оснований, хотя Линде был намного моложе Жердина и окончил университет уже в советское время. Филолог по специальности, он преподавал немецкий язык в одном из провинциальных индустриальных институтов. Его мечтой было стать германистом и заниматься сравнительной филологией в этой области. Кроме того, он любил поэзию гражданского и философского направления, считая образцом творчества поэзию Гёте. Немец по происхождению — его предки приехали в Сибирь из Германии где-то в начале девятнадцатого века — Линде был сторонником тесной дружбы русского и немецкого народов, полагая, что достоинства каждого из них могли бы естественно восполнить их недостатки. Договор о вечной дружбе СССР и Германии, заключенный между Сталиным и Гитлером, он принял с восторгом. В политическом отношении Вернер Иоганнович был человеком достаточно наивным.

Его мечты о научной работе разлетелись прахом в тридцать седьмом году, когда Линде был арестован по статье СОЭ социально-опасный элемент. «Опасность» мир-

ного филолога была связана, конечно, с его немецким происхождением.

Обожая немецкую культуру, он в то же время сильно недолюбливал своих настоящих земляков, русских немцев, особенно сибирских колонистов. Ему претили их самодовольная ограниченность, непостижимое политическое суеверие и непоколебимая предвзятость мнений. Духовная заскорузлость дремучих провинциалов «фольксдойч» могли бы вызвать у русского интеллигента Вернера Линде только улыбку, как и их ископаемый саксонский диалект, если бы этот интеллигент не чувствовал в них той же основы, на которой в самой Германии взошли дикие идеи нацистов. Фашизм этому немцу был чужд органически, как нечто неперевариваемое для его интеллекта и этических преставлений.

Кроме Линде в устьинском лагере было еще три немца-заключенных. Однако товарищеские отношения он поддерживал только с одним -- бывшим членом Германской компартии, бежавшим в Советский Союз от гитлеровцев в первой половине тридцатых годов. Таких немцев в тридцать седьмом сталинско-ежовское НКВД истребило поголовно всех. Штайнке уцелел буквально по пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Metallург по специальности, он работал на одном из донецких заводов сменным инженером доменного цеха и допустил по недосмотру тяжелую аварию. Разгул ежовщины наступил, когда Штайнке сидел уже в лагере по «бытовой» статье, и ежовцы, скорее всего, бывшего члена КПГ просто потеряли. Правда, его первоначальный пятилетний срок неопределенно удлинился. Как и все заключенные немецкой национальности, Штайнке уже на второй день войны расписался, что извещен об удлинении срока заключения до конца войны.

Остальные два немца и к Штайнке, и к Линде относились одинаково враждебно, считая их отщепенцами и коммунистами. Один из этих немцев в прошлом был владельцем крупного хутора, почти помещичьего имения в бывшей области Войска

Донского, другой — пресвитером евангельской общины где-то в Закавказье. Для этих людей немец-марксист из Германии и русский интеллигент несколько старомодного склада с немецкой фамилией были, так сказать, на одно лицо, так как оба они не верили в Бога и ненавидели гитлеризм, хотя и понимали его каждый по-своему.

Штайнке считал фашизм исторически закономерным явлением, возникшим как идеологическая антитеза коммунизму, своего рода защитная реакция капитализма на возрастающую мощь Советского Союза и революционную активность масс внутри буржуазных государств. Линде это не отрицал, но полагал, что нацизм в главной своей основе происходит от воспитания немецкого народа в духе знаменитого принципа «дойчланд юбер аллес» на протяжении целого ряда поколений. Этот принцип возбуждает в немцах национальное самомнение, стремление властвовать посредством военной силы, а не жить в мире с соседями. Почему бы им и в самом деле не дружить по-настоящему с русскими, что завещал так настойчиво еще Бисмарк?

Штайнке пытался внушить неисправимому идеалисту, что одной из главных целей коммунизма является именно дружба и сотрудничество народов. И не только соседних, а всех, сколько их есть на земле. Это знает каждый школьник. Но психологический аспект этой задачи марксисты считают все же вторичным при всей его важности. Примитивные взгляды товарища Линде на ход исторических событий — результат его дилетантизма в исторической философии, особенно марксистской.

Это была правда. В голове у Линде, учившегося в университете с перерывом продолжительностью в Гражданскую войну, образовался порядочный сумбур из смеси представлений идеалистической и материалистической философий. Причем Канта, Гегеля и Шопенгауэра он знал значительно лучше, чем Маркса и Энгельса. И только о Ницше имел довольно трезвое представление как о предмете современного фашизма, хотя

и несколько преувеличивал его значение, как и любого психологического фактора. Азы марксизма, особенно в изложении критика коммунизма Штайнке, казались ему нередко почти религиозными догмами, да еще с налетом инквизиторской нетерпимости ко всякому инакомыслию. Не потому ли он считает вполне естественной и политическую нетерпимость наци?

Споры с довольно образованным марксистом Штайнке Линде не любил. Да и тот, со своими суховатыми формулами и определениями почти не оставлял для этого места. Другое дело — его сосед по нарам. Любовь Жердина к полемике, без особой, правда, склонности к логике, была сравнима только с такими же качествами Линде. Любопытно, что эти споры почти не отображали действительных убеждений спорщиков. Жердин в них изображал из себя этакого махрового белогвардейца-реакционера; Линде - чуть ли не большевика. Желчный и почти ругательный тон задавал этим спорам Николай Николаевич. Старик начинал брюзжать о чем-нибудь вроде беспорядков в лагерной столовой, постепенно переводя речь на всю Россию и даже на путь, которым она к такому состоянию пришла.

Жердин во многом винил интеллигентов и интеллигентность вообще, особенно в российской ее модификации. Этакie мягкотелые хлюпики, впадающие в покаянный тон там, где надо применить власть и силу. Таким был и сам русский царь, постеснявшийся оставить в Петрограде хотя бы один гвардейский полк. Шульгин в своих «Днях» прав - полк краснорожих преображенцев в один день разметал бы все эти митингующие оравы, и шиш бы тогда Ленину под нос, а не «Вся власть советам!». А уж об интеллигентах из Временного и говорить нечего! Проворонили, заседа в Зимнем под главенством своего верховного краснобая Керенского, и Ленина, и его большевиков. Дискутировали с ними вместо того, чтобы

противопоставить большевикам их же неразборчивость в политических средствах! А еще раньше, все эти Чеховы, Короленко и Куприны разрыхлили российскую почву для принятия ею плевел большевизма. Жердин в своих филиппиках обличал русскую интеллигенцию с азартом ренегата, который сам в свое время приветствовал «бескровную революцию» апологетов Учредительного собрания. Жертвенные овечки, понимавшие даже иногда, что шквал народной революции неизбежно примет чисто российские формы и выбросит на свалку своих же собственных предтеч! Жердин зло цитировал Брюсова: «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром?» Правильно поступил Сталин, что с азиатской хитростью спровадил всех старых интеллигентов, уцелевших после Гражданской войны и не загремевших в эмиграцию, в каторжные лагеря, из которых только немногие выберутся живыми. Еще раньше с тевтонской прямолинейностью это сделал Гитлер в Германии. И уж совсем давно кто-то из мудрых китайских императоров приказал утопить всех своих ученых в нужниках. Мозговики-интеллектуалы не представляют сами никакой реальной силы, но пробуждая в народе скептическую, а то и крамольную мысль, булгачат его, мешают охмурять религиозными и политическими догмами, а следовательно, и управлять им. Древние китайские мандарины, гитлеровцы и большевики-сталинисты тут едины в своей политике по отношению к мозговикам, правильной с практической точки зрения...

Линде бурно протестовал против жердинских наскоков на интеллигенцию. Ее роль часто бывала жертвенной в истории, но всегда положительной. Мыслящие люди редки, но они всегда были и будут носителями прогрессивных идей. Русская интеллигенция тоже была прогрессивной и, в своем подавляющем большинстве, честной. И не вина ее, а беда, что она оказалась между молотом и наковальней. Он, Линде,

имеет право судить об этом, так как в год революции был уже студентом-первокурсником. Не прав Николай Николаевич и в своем понимании большевистской революции просто как стихийного бунта, который не успели вовремя подавить. Ход истории определяется не случайным поведением случайных личностей, не правильным или неправильным пониманием полицейских мер и даже не настроениями отдельных социальных групп, а политико-экономическими факторами. В ответ Жердин ругал своего оппонента большевиком, а тот его мракобесом, апологетом кретинических воззрений феодалов-крепостников. Ему бы жить не сейчас, а где-нибудь в первой половине прошлого века. В веке же двадцатом, уважаемый Николай Николаевич -- анахронизм, попавший в него по недоразумению.

- Зато, — язвил Жердин, — Вернер Иоганнович явился в мир в самый раз, чтобы успеть лизнуть своих большевиков ниже спины и получить от них в благодарность пинка в то же самое место.

Перепалка иногда доходила до сердитой перебранки, хотя, в конце концов, приятели мирились опять, соглашаясь, что оба погорячились.

Рассеянно засовывая ложку, возвращенную ему Жердиным, за одну из своих обмоток, Линде процитировал ему фразу Мефистофеля из его монолога в старом переводе Васильева:

- «Дрянное Нечто, мир ничтожный, соперник вечного Ничто...» Ты только вслушайся, Николай, какое здесь сочетание смысла, формы и размера слов! Эта фраза звучит в переводе лучше, чем в оригинале!

Сосед присел на свой лежак:

- Дрянное Нечто... — повторил он задумчиво. Со двора донесся звук удара о что-то металлическое.

- Цынга бьет! — вздохнул Линде, вставая и бережно кладя томик Гёте под подушку.

- Да, «дрянное Нечто» не дает о себе забывать, — вздох

нул и Жердин, натягивая драный бушлат.

Приятели-враги направились к выходу, беседуя без обычной колкости. Сейчас между ними был нормальный для их отношений «мир до первой драки».

Ветер на дворе усилился настолько, что уже начинал закручивать на сугробах лежалый снег. На пути в поселок он бил прямо в лицо.

- Балла по два в час нарастает, - сказал бывший моряк. - К вечеру в шторм перейдет...

- Шторм это у вас на море, — заметил Линде, — у нас же тут начинается обыкновенная пурга.

Он достал из кармана грязную тряпку размером с носовой платок, обметанную по краю нитками и с веревочками, пришитыми к ее углам. При помощи этих веревочек предусмотрительный немец повязал свою «паранджу» на лицо так, что оставались открытыми только глаза. При ходьбе против ветра это была очень полезная вещь. У Жердина такого приспособления не было. Даже из двух рукавиц у него оставалась только одна. Другая, забытая им на железной печке, сгорела. Прощай-Молодость брел, прикрывая лицо рукой в рукавице и держа другую в единственном кармане. В целях экономии ткани, с началом войны на каторжанские телогрейки, штаны и бушлаты стали пришивать только по одному карману. Правда, на бушлате Линде карманов было два, но второй он нашил уже сам, все из того же одеяла, подаренного ему учительницей Шмелевой. Она чисто по-бабьи жалела арестантов, особенно таких, в которых сквозь их жалкий вид просвечивала образованность и хорошее воспитание.

У Линде и по дороге на работу, по-видимому, не вылезала из головы поразившая его в русском переводе фраза Мефистофеля. Наклонившись к уху Жердина, скрючившегося в своем рванье, он сказал, точнее прокричал, так как ветер относил слова назад:

- Вряд ли есть в мире более гибкий инструмент для выражения поэтизированной мысли, чем русский язык. Вы,

русские, не «унтерменш», а очень талантливый народ. Только часто склонны к разгильдяйству. Вот, возьми мою рукавицу...

- Пошел ты к черту, немец-перец, — пробурчал Жердин, принимая, тем не менее, протянутую ему рукавицу.

- Разговоры! — крикнул бредущий сзади конвоир.

В плотницкой - большом сарае, тускло освещенном двумя свисающими с потолка электрическими лампочками, - рабочий день заключенных уже закончился. Десятка два человек теснились у железной печки в ожидании прихода конвоира для следования в лагерь. Работали здесь и вольные, но они давно уже ушли. Стенки бочки из-под соляра, переделанной в печку, вишнево светились, но в сарае было холодно. Сапожник чаще других ходит без сапог, гласит русская поговорка. Плотники и столяры никак не удосуживались проконопатить заново бревенчатые стены своей мастерской, и ее продувало даже при слабом ветре, сейчас же на дворе бушевала сильная пурга.

Среди толпившихся у печки заключенных Линде не было. В дальнем углу плотницкой он увязывал в аккуратную вязанку обрезки сухого дерева. Ему нужно было отнести ее в поселок и вернуться на стройдвор еще до того, как распахнется дверь плотницкой и заснеженный конвоир прохрипит приказ строиться.

Отлучка заключенного с места его работы, да еще для посещения жилища вольнонаемных, формально запрещена. Но дрова служили своего рода неофициальным пропуском. Лес в Устьпян доставляли издалека и с большим трудом, дров не хватало, поэтому начальство и конвойные солдаты делали вид, что не замечают, как заключенные таскают за хлеб и махорку в частные квартиры собранный на берегу плавник, выкорчеванные на склонах сопки пни и вообще все, что может гореть. В лагере работникам строительной бригады многие завидовали главным образом потому, что те всегда могли зашибить «левую» пайку собиранием древесных отходов.

Линде работал в этой бригаде плотником. Бывший фило-

лог освоил это ремесло уже в лагере, попав сюда с прииска, на котором основательно «дошел». Он являлся несчастным исключением среди заключенных интеллигентов, которые редко по-настоящему могут приспособиться к физическому труду, особенно требующему известных навыков и умения. Примером такой неспособности был Жердин. В плотницкую бригаду он попал по протекции Линде, подальше плохого подсобного рабочего так и не пошел. Немец старался его научить выполнять хотя бы простейшие плотницкие работы, но тот все делал вкривь и вкось. Он не осилил даже искусства перепилить как следует доску или жердь. Неважным был Жердин и чернорабочим. Измученный невзгодами пожилой человек, он был слабее многих людей своего возраста еще и потому, что хуже их питался. С непостижимым упорством старик отказывался от ношения дров в дома вольных, добровольно лишая себя дополнительной «горбушки», которую почти ежедневно прирабатывали остальные бригадники. Бывший моряк считал это занятие замаскированным выпрашиванием милостыни и не мог преодолеть к нему судорожного отвращения. Это было именно неодолимое отвращение, а не результат дурацкой дворянской спеси, которой пытался объяснить поведение товарища Вернер. Другие посмеивались над Жердиным: образование, мол, руку за горбушкой протянуть не позволяет. Бригадир, старый деревенский плотник с Украины, усмехался в усы, неверно полагая, что бывший царский офицер просто демонстрирует перед остальными свое гордое сидение на лагерной пятисотке: «Назло моему батьке, нэхай в менэ уши отмэрзнуть...»

Впрочем, собирать щепки и обрезки для вернеровских вязанок Николай Николаевич не отказывался. Делясь с ним заработанной коркой, Линде иногда напоминал дворянину и офицеру Жердину о том, что эта корка добыта холуйским услужением. Тот сердился, но молчал. Он и сам понимал, что ведет себя непоследовательно.

Обычно в короткий промежуток времени между концом

работы и появлением в дверях конвойного солдата добрая половина бригады убежала в поселок с вязанками или мешками топлива. Сегодня все, кроме Линде, благоразумно отложили это дело до завтра. Идти с дровами надо было против ветра, а он достиг уже, как и предсказывал Жердин, штормовой силы. Ветер дул в сторону моря резкими порывами, как будто набирал в промежутках силу и налетал потом такими шквалами, от которых подрагивал крепкий бревенчатый сарай. Перспектива карабкаться против такого ветра в гору - поселок растянулся почти в одну улицу по склону пологой сопки - да еще с ношей за плечами была даже хуже, чем неизбежное, без вожденной левой краюшки, голодное сосание под ложечкой.

- И охота тебе переться в поселок в такую погоду, - сказал кто-то из сидевших у печки, когда Линде уже повязал на лицо свою тряпочку и поднимал с пола довольно увесистую вязанку, — авось не замерзли бы до завтра твои клиенты...

- У Шмелевых совсем топить нечем, — возразил тот, — а я у Марьи Игнатьевны в долгу. — Немец выразительно подергал за конец своего одеяльного кашне и открыл дверь.

Со двора ворвался ледяной ветер. Блеснули в тусклом свете лампочек снежинки поземки, а сами лампочки закачались под потолком на длинных шнурах.

- Пургаса! — оскаблился скуластый узкоглазый человек неопределенного возраста с таким видом, как будто делал окружающим необычайно приятное сообщение.

Это был Камчадал, единственный в Устьпяне, а может быть, и на всей Колыме, заключенный абориген. Но он не был ни якутом, ни орочем, а принадлежал к ничтожному по своей численности племени оседлых жителей севера охотско-морского побережья. Это были потомки каких-то русских, не то беглых, не то ссыльных, давших начало в незапамятные времена странному гибриднему племени, которое можно было бы считать вполне тунгусским по своему этнографическому типу, если бы не язык. А язык этот был русским, хотя

и искаженным почти до неузнаваемости. Русским было и их самоназвание — камчадалы. Жили камчадалы охотой на морского и пушного зверя, рыбной ловлей, обменивая до второй половины двадцатых годов продукты своего труда на оружие, соль и спирт у американцев, ежегодно прибывавших сюда на торговых шхунах. О том, что они граждане Великого Социалистического государства камчадалы узнали позже, одновременно с прекращением незаконной торговли, раскулачиванием посредников в этой торговле и арестом одного из их соплеменников за шпионаж в пользу Соединенных Штатов. Свой срок «американский шпион» давно бы уже отбыл, если бы не приказ о задержании всех политических преступников в лагерях до окончания войны.

Разговоров у печки почти не было. Заключение сидели вокруг нее, хмуро нахохлившись, и зябко ежились. Угнетало чувство голода, всегда усиливавшееся на безделье. Заглушить голод могла бы махорка, но она была теперь даже дефицитнее, чем хлеб. Раньше Устьпьян считался по питанию очень приличным лагерем, так как рыбы и нерпичьего сала в ней было от пуза. Теперь все это строжайшим образом учитывалось, крепко-накрепко запиралось и выдавалось по голодной норме.

Благодушный Камчадал достал из кармана и сунул в рот коротенькую пустую трубку:

- Мало-мало махоркой пахнет, -- пояснил он соседям свое движение, хотя никто его ни о чем не спрашивал.

Линде поднимался в гору с трудом и то только в относительное затишье между порывами ветра. Снежные вихри спиралью дышали и больно били в лицо, даже сквозь «паранджу» колючими снежинками, которые ветер сметал с высоких сугробов, заборов и крыш. Через каждые несколько шагов приходилось поворачиваться к ветру спиной, чтобы перевести дух. Время от времени Вернер опускал свою вязанку наземь и делал более длительную передышку. Хорошо еще, что домик Шмелевых находился не в самом конце улицы, а только не-

многим дальше ее середины.

Это была маленькая, ничем не огороженная хибарка с тремя оконцами, в двух из которых сейчас горел свет. Дома в такое время обычно бывает только хозяйский сынишка Костя, славный и добрый мальчик, которому, наверно, как всегда, поручено вручить дровоносу плату за дрова - пакетик сухарей или кусок хлеба. Мама Кости могла бы, конечно, ничего ему и не оставлять - старое одеяло явилось бы достаточной платой за добрый десяток таких вязанок. Но судя по выражению глаз доброй женщины, когда она протягивала одеяло бывшему доценту, оно не было просто платой за его услуги. Самой хозяйки дома нет, она сейчас в школе. В одну смену здесь занимаются только старшие классы, младшим приходится бегать и во вторую. Школа крохотная, а население поселка растет именно за счет самых маленьких. Нет дома и нормировщика Шмелева, он должен еще подвести итоги работы дневной смены заключенных рабочих в засолочном и коптильном цехах. Несмотря на холод и ветер, труба в доме Шмелевых не дымила. Это означало, что топливо в нем действительно кончилось, и вязанка дров придется сейчас очень кстати.

Вернер поднялся на две ступеньки маленького крылечка, отдышался — домик с одной стороны заслонял его от ветра—и постучал.

Мальчишки в накинутых на плечи пальто - в домике было холодно - сидели под электрической лампочкой по сторонам небольшого стола и напряженно к чему-то прислушивались. Выражение лиц у обоих было встревоженное. Но у одного сквозь тревогу проступали нетерпение и решимость, у другого — подавленность и страх. Каждый раз, когда сквозь завывание пурги им слышались шаги за окном или стук в дверь, оба нервно вздрагивали. Когда же оказывалось, что это только очередная шутка ветра, сдувшего с крыши большой ком снега, Сашка со сдержанной досадой стучал по столу кулаком, а на лице Кости появлялось выражение облегчения и робкой надежды. Хорошо бы, если бы этот немец-дровонос, несмотря

на свою обычную пунктуальность, сегодня не смог бы прийти, хотя, конечно, топить печь было уже нечем. Но лучше всю ночь дрожать от холода и остаться утром без горячего чая, чем участвовать в ужасной операции, намеченной приятелем на сегодняшний вечер.

Костя, конечно, знал, что нерешительность и жалость к врагу являются для настоящего партизана непозволительной слабостью, сродни трусости и даже самой измене. Сашка весь вечер ругает и стыдит его за это. Говорит, что на Материке сейчас даже девчонки партизаныт! Вон как Зоя Космодемьянская... А вот он, Шмелев, который еще днем на организационном собрании первого в Устьпяне отряда молодых партизан, состоявшего пока только из двух молодых патриотов, дал слово не раскисать и быть верным долгу бойца, сейчас дрожит как последний слабак и трус! И чуть ли не готов предупредить приговоренного к смерти врага о партизанской засаде.

Шмелев робко оправдывался перед командиром отряда. Сочувствие и жалось к немцу он постарается преодолеть. Но вот что делать с сомнениями, возникающими у него по части правомерности Сашкиного... то бишь партизанского приговора? Ведь этого немца уже судили, и суд приговорил его не к расстрелу, а только к сроку в лагере. Кроме того, все взрослые, в том числе лагерное начальство и конвоиры вроде никак не выделяют его среди прочих заключенных. А Костина мать, так та прямо благоволит к своему дровоносу, говорит, что тот очень образованный и порядочный человек...

Командир Маслов в сотый раз втолковывал своему подчиненному, что советский суд судил немца еще до войны, когда не было известно до конца насколько подлый народ эти фашисты. Теперь же по официальной линии изменить принятого решения уже нельзя. Другое дело — партизаны и вообще народ! Видел же Костя в фильме «Александр Невский», как князь-полководец отдал на суд народа главных псов-рыцарей, уклонившись сам от решения их окончательной судьбы! А что

касается Марьи Игнатьевны, то она — женщина. А женская жалостливость суровым партизанам не указ... Тем более по отношению ко всяким вредителям и шпионам! Политрук местного вохровского отряда не раз говорил, что они умеют прикидываться ни в чем не виновными и пробуждать жалость к себе в политически неискренних простаках...

Шмелев переживал чувство мучительной раздвоенности. Долг партизана и мстителя вступал в противоречие с чувством искренней симпатии к немцу-дровоносу. Мягкая улыбка на изможденном лице заключенного никак не позволяла утвердиться в мысли, что этот человек только прикидывается добрым и благожелательным.

В дверь постучали. На этот раз уже совершенно явственно. Ветер как раз сделал паузу, и было слышно, как кто-то тяжело топчется на крыльце. Костя побледнел и весь съежился на табуретке, а глаза Сашки сверкнули недоброй радостью:

- Вот, а ты говорил, что немец пурги испугается... Поди открой, да не вздумай его спровадить! - строгим голосом приказал командир партизанского отряда.

- А может это папа? — Костя и сам слабо верил в свое предположение, но Сашка счел нужным погасить в нем и эту последнюю надежду на оттягивание решительного момента сегодняшней операции:

- Чего выдумываешь? Твоему пахану еще сводки в управление нести надо!

Костя медленно выбрался из-за стола и поплелся к выходу так тяжело, как будто к каждой ноге у него было привязано по гире. В кухоньке, которую надо было перейти, чтобы попасть в сени, он остановился перед столом, где лежал небольшой пакет, завернутый в исписанный лист из ученической тетради:

- Может, все-таки, отдать немцу этот хлеб? А, Саша?

- Вот мямля, трус несчастный! - Сашка сердито сорвался со своего места, побежал в сенцы, сбросил крючок с входной двери и крикнул сквозь нее: — Войдите! — снова убежал в ком

нату. Дверь в сени он при этом не затворил и прихватил с собой пакет, лежавший на столе.

По полу в кухню пополз из сеней серый пар. Он стал белым и повалил клубами, когда высокий, заснеженный человек с вязанкой за плечами толкнул входную дверь снаружи. Закрыв ее за собой, он опустил вязанку на пол и выпрямился. Обычно после этого Костя приглашал дровоноса войти и обогреться, а когда тот, посидев с минуту, поднимался, вручал ему хлеб, заготовленный матерью. Сегодня же он повел себя весьма странно. Сам выскочил в сени, в которых стоял Линде, захлопнул дверь в кухню и, прижавшись к ней спиной, излишне громко и каким-то испуганным, срывающимся голосом крикнул:

- Папы и мамы дома нет!

Было очевидно, что мальчишка хочет поскорее спроводить заключенного, чего прежде он никогда не делал. Всегда вежливый паренек, сегодня забыл даже поздороваться. Может быть, он натворил что-нибудь в доме и боится, что дровонос, заметив шалость, донесет о ней его родителям? Но тогда самое правильное было бы сунуть посетителю его вознаграждение и открыть дверь на улицу. Возможно, впрочем, что Марья Игнатьевна не подарила старое одеяло заключенному, как он думал, а выдала его в качестве аванса за будущие приносы топлива. Хотя это на нее совсем не похоже. Но делать было нечего, надо было уходить. Линде всмотрелся в возбужденное лицо Кости, смутно белеющее при свете, проникающем в щели двери из кухни, пожал плечами и взялся за ручку входной двери:

- До свидания...

Вдруг дверь из кухни распахнулась от сильного толчка так, что Костя отлетел в дальний угол сеней. На пороге кухни стоял Костин школьный приятель с бумажным пакетом в руке.

- Пойдите, вам тут хлеб приготовили! — Но он не отдал

немцу этого пакета, а отступил назад и положил его на стол.—

Войдите, обогрейтесь!

Все опять было очень странно. Почему здесь командует этот парень, а не Костя, который оставался в углу сеней, согнувшись, прижав к груди сжатые в кулаки руки и дрожа так сильно, что было слышно, как стучат его зубы? Совершенно очевидно, что дрожит мальчик не от холода.

- Здравствуйте... -- Линде, стоя чуть сбоку от полуоткрытой двери и держа ее за ляжку, переводил недоумевающий взгляд с одного мальчика на другого. Когда его глаза чуть приоткрылись, он выкликнул к свету, он увидел, что тот из них, который стоит на пороге кухни, держит за спиной охотничье ружье.

Не ответив на приветствие заключенного, он звонким голосом, продолжая, видимо, какую-то игру, крикнул своему партнеру в сени:

- Забыл о присяге, партизан Шмелев!

Так вот оно что! Мальчики играют в войну и балуются отцовским ружьем. Отсюда, наверно, и страх сына Шмелевых, что он донесет об этом баловстве его родителям. Но откуда тогда наглость его гостя, который как будто нарочно выставляет свое озорство напоказ? Вскинув ружье, целится из него прямо в лицо вошедшему, а в глазах у озорника горит какой-то фанатичный огонь! Нормален ли этот парень? Что если ружье заряжено!

Из угла в сенях донесся какой-то не то стон, не то всхлип. Нагнув голову и закрыв лицо руками, под рукой у Линде прощмыгнул Костя. Пробежав мимо Сашки, стоящего с ружьем наизготовку, он уткнулся лицом в одеяло на родительской кровати и зажал ладонями уши.

Костин крик «Не надо!» и Сашкин возглас «Смерть немецким захватчикам!» покрыл оглушительный выстрел сразу из обоих стволов крупнокалиберного ружья. Испуганный Линде успел к этому времени только выпрямиться и в инстинктивном защитном движении вскинуть перед собой ладони рук.

Белая тряпица на лице заключенного, его заиндевелые ресницы и брови вспыхнули множеством красных точек. Откинувшись назад, как от удара кулаком в лицо, голова стукнулась затылком о стену, на которой мелкими вихрями взметнулась пыль отбитой штукатурки. Пятна крови на лице убитого начали быстро сливаться в почти сплошную кровавую маску, а его обмякшее тело медленно сползало по дверному косяку вниз. На выбеленной стене позади открылась грубая тень головы с частью шеи и плеч, окаймленная пятнами обнажившейся глины и брызгами крови. Склонившись несколько вбок, тело навалилось на полуприкрытую дверь. Та отворилась, и оно грузно рухнуло навзничь, головой на вязанку, забытую на полу в сенях. Так валится на подушку своей постели безмерно усталый человек.